

ствия, советник уголовной палаты барон Шиллинг принялся за дело горячо, держал себя авторитетно и от знакомств с омским обществом сторонился. Это, конечно, не могло понравиться местным властям, они приняли против него свои меры, и бедный следователь к раскрытию истины надлежащего содействия не получил. Спрошенные им, по указанию ординатора Крыжановского, свидетели не подтвердили сделанных доносчиком заявлений. Политические арестанты, при допросе их, давали такие уклончивые иносказательные ответы, что следователь становился в тупик и только банился. Так, Ф. М. Достоевский на сделанный ему следователем вопрос: не писал ли он чего-либо в остроге или когда находился в госпитале? — ответил:

— Ничего не писал и не пишу, но материалы для будущих писаний собираю.

— Где же материалы эти находятся?

— У меня в голове.

## А. Е. ВРАНГЕЛЬ

### ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ В СИБИРИ»

В средине ноября 1854 года я отправился в Семипалатинск. Дорога шла прямая на юг вдоль Иртыша, голою необозримою Киргизскою степью. Нигде ни рощ, ни холмов не видно,— полное тоскливою однообразие природы. То там, то сям чернеют юрты киргизов, тянутся вереницы верблюдов, да изредка проскачет всадник. <...>

На почтовых станциях в казачьих станицах (в Сибири вдоль границы поселены были линейные сибирские казаки) есть было нечего. Кроме чаю и хлеба, ничего не было, и меня спасли от голода замороженные щи и пельмени, взятые на дорогу в Омске.

20-го ноября светлою, морозною лунною ночью, проехав версты три сосновым бором, достигли мы наконец цели моего длинного путешествия. Несколько тысяч верст разделяло меня от Петербурга, от родного крова! Семипалатинск в то время был ни город, ни деревня, а нечто среднее. Одноэтажные, бревенчатые, приземистые Домишкы, бесконечные заборы, на улице ни одного фонаря, ни сторожей, ни одной живой души, и если бы не отчаянный лай собак, город показался бы вымершим. Он кишел собаками, которые охраняли жителей и исполняли санитарную часть. Служителей полиции в течение двух лет моего пребывания в Семипалатинске — я не видел, кроме Базилевича, носившего громкое звание полицеемейстера. Гостиниц в то время в Семипалатинске не было. Приезжим отводилась по очереди квартира в лучших домах обывателей, и нужно сказать, что хозяева принимали очень радушно и хлебосольно приезжих, осо-

бенно из столицы. «Как же, батюшка, не радоваться вам,— говорили они,— ведь без вас не знали бы, не ведали, что и творится на белом свете». Они всячески старались задержать случайного гостя как можно дольше. Газета в Сибири в то время была редкостью, очень немногие ее выписывали. Она переходила из рук в руки, а в день прихода почты, раз в неделю, собирались у знакомого, получавшего ее, чтобы узнать, что творится в Крыму— под Севастополем<sup>1</sup>.

Через несколько часов я уже перебрался в свой новый «home», разложился, поехал обедать к губернатору, разузнал, где и как разыскать Ф. М. Достоевского, и послал просить его к себе вечером пить чай. Достоевский в то время жил уже в своей частной квартире-лачуге.

Достоевский не знал, кто и почему его зовут, и, войдя ко мне, был крайне сдержан. Он был в солдатской серой шинели, с красным стоячим воротником и красными же погонами, угрюм, с болезненно-бледным лицом, покрытым веснушками<sup>2</sup>. Светло-русые волосы были коротко остриженны, ростом он был выше среднего. Пристально оглядывая меня своими умными, серо-синими глазами, казалось, он старался заглянуть мне в душу,— что, мол, я за человек? Он признался мне впоследствии, что был очень озабочен, когда посланный мой сказал ему, что его зовет «господин стряпчий уголовных дел». Но когда я извинился, что не сам первый пришел к нему, передал ему письма, посыпал и поклоны<sup>3</sup> и сердечно разговорился с ним, он сразу изменился, повеселел и стал доверчив. Часто после он говорил мне, что, уходя в этот вечер к себе домой, он инстинктивно почуял, что во мне он найдет искреннего друга.

Читая письма брата и сестер, я помню, он прослезился, а на меня в то же время нашло опять то же чувство отчаяния, жуткой тоски и одиночества, которое так нередко со временем моего длинного странствования нападало на меня. Во время моей беседы с Федором Михайловичем я получил собранную целую груду писем из Петербурга от моих близких, родных и друзей. Порывисто вскрыв их, я набросился на них и, читая их, вдруг разрыдался; был я в то время юноша экспансивный, очень привязанный к семье своей. Мне так оказалась невыносимой моя оторванность от всего дорогого и сделалась так жутко за будущее! Мы оба стояли друг перед другом, оба забытые судьбой, одинокие... Мне так было тяжко, что я, несмотря на высокое мое звание «господина

областного стряпчего по уголовным делам», как-то невольно, не долго думая, бросился на шею стоявшему передо мной с устремленным на меня грустным, задумчивым взором Федору Михайловичу. Он сердечно приласкал меня, дружески, горячо, как старому знакомому, пожал мне руку, и мы дали слово как можно чаще видеться.

Весною 1854 года, по освобождении из каторги, Достоевский, как известно, был переведен солдатом без выслуги в Семипалатинск, куда и был доставлен по этапу вместе с другими<sup>4</sup>. Первое время, очень недолго, он жил вместе с солдатами в казарме, но вскоре, по просьбе генерала Иванова и других, ему разрешили жить особо, близ казарм, за ответственностью его ротного командира Степанова. Он, кроме того, состоял под наблюдением своего фельдфебеля, который за малую «мзду» не особенно часто беспокоил его.

Первое время было для него трудное — полное одиночества... Но, мало-помалу, он познакомился с некоторыми офицерами и чиновниками, хотя был далек от тесного сближения с ними<sup>5</sup>. Конечно, после каторги новое его положение, тяжелое с материальной стороны, все же, благодаря относительной свободе, казалось ему рабен: так он сам мне говорил<sup>6</sup>. <...>

Семипалатинск лежит на правом высоком берегу Иртыша, широкой рыбной реки, тогда еще не выдавшей не только пароходов, но и барок-то на ней не бывало. Город получил свое название от семи палат, развалины которых еще существовали в XVIII столетии и изображены в описании путешествий ученого натуралиста Палласа. В мое время и следов не было от этих руин. Древний Семипалатинск был, вероятно, монгольский город, так как при раскопках найдены были медные изображения Будды, бараны лопатки с монгольскими письменами и предметы буддийского культа. За неимением в древности бумаги писали на бараньих лопатках.

В мое время Семипалатинск, как я уже сказал выше, был полугород, полудеревня. Все постройки были деревянные, бревенчатые, очень немногие оббиты досками. Жителей было пять-шесть тысяч человек вместе с гарнизоном и азиатами, кокандскими, бухарскими, ташкентскими и казанскими купцами. Полуоседлы киргизы жили на левом берегу, большую частью в юртах, хотя

у некоторых богачей были и домишки, но только для зимовки. Их насчитывали там до трех тысяч.

В городе была одна православная церковь, единственное каменное здание, семь мечетей, большой меновой двор, куда сходились караваны верблюдов и вычных лошадей, казармы, казенный госпиталь и присутственные места. Училищ, кроме одной уездной школы, не было. Аптека — даже и та была казенная. Магазинов, кроме одного галантерейного, где можно было найти все, — от простого гвоздя до парижских духов и склада сукон и материй, — никаких: все выписывалось с Ирбитской и Нижегородской ярмарок; о книжном магазине и говорить нечего, — некому было читать. Я думаю, во всем городе газеты получали человек десять — пятнадцать, да и не мудрено, — люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетнями и своими торговыми делами. Не забывайте, что в это время шла Крымская война, но сю малю интересовались: уж слишком было далеко, да это и не было свое, «сибирское» дело. Сибиряки держали себя тогда особняком и говорили: «Он из России».

Я выписал три газеты: «С.-Петербургские академические ведомости», «Augsburger Allgemeine Zeitung», «Indépendance Beige», к великому удовольствию Федора Михайловича, который с особенной любовью читал «Indépendance Beige», не говоря уже о русской газете. «Augsburger Zeitung» он не трогал, мало понимая тогда понемецки и не любя этого языка.

Семипалатинск делится на три части, разделенные песчаными пустырями. На север лежала казацкая слободка, самая уютная, красивая, чистая и благообразная часть Семипалатинска. Там был сквер, сады, довольно приглядные здания полкового командира, штаба полка, военного училища и больницы. Казарм для казаков не было — все казаки жили в своих домах и своим хозяйством.

Южная часть города, татарская слобода, была самая большая; те же деревянные дома, но с окнами на двор — ради жен и гарема. Высокие заборы скрывали от любопытных глаз внутреннюю жизнь обывателя-магометанина; кругом домов ни одного дерева — чистая песчаная пустыня. Вообще во всем Семипалатинске не было ни одной мощеной улицы; но мало и грязи, так как сырчий песок быстро всасывал воду. Зато ходить было трудно, увязая по щиколку в песке, а летом, с палящей жарой в 30° в тени, просто жгло ногу в раскаленном песке.

Среди этих двух слобод, сливаясь с ними в одно, лежал собственно русский город с частью, именовавшейся еще крепостью, хотя о ней в то время уже и помину не было. Валы были давно снесены, рвы засыпаны песком, и только на память оставлены большие каменные ворота. Здесь жило все военное: помещался линейный батальон, конная казачья артиллерия, все начальство, главная гауптвахта и тюрьма — мое ведомство. Ни деревца, ни кустика, один сырчий песок, поросший колючками.

Здесь жил и Достоевский. У меня сохранился рисунок его хаты.

Я жил на самом берегу Иртыша, близ губернатора; неподалеку был остров с огородами и бахчами дынь и арбузов. Против моих окон, по ту сторону реки, было киргизское поселение и расстилалась необозримая степь с синими горами Семитая, за семьдесят верст вдали на горизонте. <...> Я платил за квартиру в три комнаты с передней, конюшнею, сараем и еще помещением для троих людей, за нашу еду, отопление — тридцать рублей в месяц. Федор Михайлович за свое помещение, стирку и еду пять рублей. Но какая вообще была его еда! На приварок солдату отпускалось тогда четыре копейки, хлеб особо. Из этих четырех копеек ротный командир, кашевар и фельдфебель удерживали в свою пользу полторы копейки. Конечно, жизнь тогда была дешева: один фунт мяса стоил грош, один пуд гречневой крупы — тридцать копеек. Федор Михайлович брал домой свою ежедневную порцию щей, каши и черного хлеба, и если сам не съедал, то давал своей бедной хозяйке. <...>

Правда, Федор Михайлович часто обедал у меня, да и знакомые его приглашали. Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустынь, сырчий песок, ни куста, ни дерева. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, и без единого окна наружу, ради опасения от грабителей и воров. Два окна его комнаты выходили на двор, обширный, с колодцем и журавлем. На дворе находился небольшой огородик с парою кустов дикой малины и смородины. Все это было обнесено высоким забором с воротами и низкою калиткою, в которую я всегда влезал нагибаясь, — тоже исторически установленный в то время расчет строить низкие калитки: делалось это, как мне говорили, для того, чтобы легче рубить наклоненную голову случайно ворвавшегося врага. Злая Цепная собака охраняла двор и на ночь спускалась с цепи.

У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены; вдоль двух стен шла широкая скамья. На стенах там и сям лубочные картинки, засаленные и засиженные мухами. У входа налево от дверей большая русская печь. За нею помещалась постель Федора Михайловича, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевою перегородкою. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальюю свечою — стеариновые тогда были большою роскошью, а освещения керосином еще не существовало — я еле-сле мог читать. Как при таком освещении Федор Михайлович писал ночи напролет, решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы стаями бегали по столу, стенам и кровати, а летом особенно блохи не давали покоя, как это бывает во всех песчаных местностях.

С каждым днем мы ближе и ближе сходились с Федором Михайловичем. Он стал все чаще и чаще заходить ко мне во всякое время дня, насколько позволяла его солдатская и моя чиновничья служба, зачастую обедал у меня, но особенно любил заходить вечерком пить чай — бесконечные стаканы — и курить мой «Бостанжогло» (тогдашняя табачная фирма) из длинного чубука. Сам же он обыкновенно, как и большинство в России, курил «Жукова». Но часто и это сму было не по карману, и он тогда примешивал самую простую махорку, от которой после каждого визита моего к нему у меня адски болела голова. <...>

Развлечений в Семипалатинске не было никаких. За два года моего пребывания туда не заглянул ни один проезжий музыкант, да и фортепьяно было только одно в городе, как редкость. Не было даже и примитивных развлечений, хотя бы вроде балагана или фокусника. Раз, помню, писаря батальона устроили в мансеже представление, играли какую-то пьесу. Достоевский помогал им советами, повел и меня смотреть. <...>

По мере сближения с Достоевским все теснее, отношения наши стали самые простые и безыскусственные, — двери мои для него всегда были открыты, днем и ночью. Часто, возвращаясь домой со службы, я заставлял у себя Достоевского, пришедшего уже ранее меня или с учения,

или из полковой канцелярии, в которой он исполнял разные канцелярские работы. Расстегнув шинель, с чубуком во рту, он шагал по комнате, часто разговаривая сам с собою, так как в голове у него вечно рождалось нечто новое. Как сейчас вижу его в одну из таких минут; в это время он задумал писать «Дядюшкин сон» и «Седо Степанчиково» (см. письмо Майкову)<sup>\*</sup>. Он был в заразительно веселом настроении, хохотал и рассказывал мне приключения дядюшки, распевал какие-то отрывки из оперы, но, увидав внесенную моим Адамом янтарную стерляжью уху, стал тормошить Адама, чтобы он скорее давал есть. Адама Федор Михайлович любил, впрочем, как и всех обиженных судьбою, защищал и одарял деньгами, когда заводилась у него самой лишняя копейка, что давало моему Лепорелло<sup>2</sup>, возможность лишний раз выпить. <...>

Федор Михайлович очень любил читать Гоголя и Виктора Гюго<sup>3</sup>. Старое поколение тогда Гоголя недолюбливало, мы же, молодежь, восхищались им. В Лицее были товарищи, которые целые страницы его сочинений знали наизусть; многим из товарищей мы давали клички из «Мертвых душ», так, например, у нас был Чичиков, были Селифонт<sup>4</sup> и Коробочка. Как-то раз, Хваля и восхищаясь Гоголем в присутствии одного моего высокопоставленного родственника, я вызвал его негодование: «Надо было давно ему запретить писать,— говорил он нам,— сослать и сжечь эти «Мертвые души»; я постараюсь уж об этом у государя. До чего дойти! Сметь топтать в грязь чиновников, облеченных властью и доверием правительства, да и вам, молодежи, только затемняет головы!» — Вот какое отношение было тогда к великому Гоголю.

Когда Федор Михайлович был в хорошем расположении духа, он любил декламировать, особенно Пушкина; любимые его стихи были «Пир Клеопатры» («Египетские ночи»). Лицо его при этом сияло, глаза горели.

Чертог сиял. Гремели хором  
Певцы при звуке флейт и лир;  
Царица голосом и взором  
Свой пышный оживляла пир!

Как-то вдохновенно и торжественно звучал голос Достоевского в такие минуты.

\* Сборник Н. Н. Страхова. (Примеч. А. Е. Врангеля.)

Должен, впрочем, сказать, что я в то время мало занимался литературой; я весь предался сухой науке и подчас этим возмущал Достоевского. «Да бросьте вы ваши профессорские книги», — приставал он ко мне. Во время наших бесед о Сибири он горячо доказывал мне, что у Сибири нет будущности, так как все ее реки впадают в Ледовитый океан и другого выхода в море нет. О приобретениях Н. Н. Муравьева на берегах Великого океана<sup>11</sup> в Семипалатинске никто и не знал, а о железном пути в Сибирь и во сне не видели и думать не смели — сочли бы за умопомешанного. Я сам хохотал, когда несколько лет спустя, в 1858 г., будучи на Амуре, познакомился с знаменитым Бакуниным, который развивал мне эту мысль. <...>

Но вернемся к дорогому Федору Михайловичу, которого я от души уже в то время полюбил; а как высоко я его ценил, лучшим подтверждением могут служить сохранившиеся до сих пор мои письма к родным из Сибири. Вот что я читаю в одном из них, помеченном вторым апреля, Семипалатинск: «Судьба сблизила меня с редким человеком, как по сердечным, так и умственным качествам; это наш юный несчастный писатель Достоевский. Ему я многим обязан, и его слова, советы и идеи на всю жизнь укрепят меня. С ним я занимаюсь ежедневно, и теперь будем переводить философию Гегеля и «Психию» Каруса. Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной. Узнайте, добрый папенька, Бога ради, не будет ли амнистии. Сколько несчастных ожидают и надеются, как утопающие хватаются за соломинку. Неужели сердце нашего нового государя, доброго и милостивого, не поймет, что великодушие лучшее средство победить недоброжелателей».

В другом письме к сестре от 15-го мая читаю:

«Попроси отца, умоляю, узнать через Александра Федоровича Вейман, будет ли при коронации амнистия политическим некоторым преступникам и не можно ли шепнуть слово Дубельту или князю Орлову о Достоевском; неужели же этот замечательный человек погибнет здесь в солдатах. Это было бы ужасно. Горько и больно за него — я любил его, как брата, и уважаю, как отца».

Выяснив мои отношения к Достоевскому, в искренности которых нет повода сомневаться, перехожу к моемудальнейшему повествованию.

Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего. Он находил извинение



М. А. Достоевский, отец писателя.  
С пастели Попова. 1823



М. Ф. Достоевская мать писателя.  
С пастели Попова. 1823



Правый флигель Маранинской больницы для бедных, в котором родился Ф. М. Достоевский

Н. А. Добролюбов.  
Гравюра  
по фотографии.  
1860



И. С. Тургенев

самым худым сторонам человека,— все объяснял недостатком воспитания человека, влиянием среды, в которой росли и живут, а часто даже их натурою и темпераментом.

«Ах, милый друг, Александр Егорович, да такими ведь их Бог создал»,— говорил он. Всё забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его. Кто не помнит его заботливости о семье его брата Михаила Михайловича (см. его письма ко мне)<sup>17</sup>, его попечения о маленьком Паше Исаеве<sup>18</sup> и о многих других.

Бывали у нас с ним беседы и на политические темы. О процессе своем он как-то угрюмо молчал, а я не расспрашивал. Знаю и слышал от него только, что Петрашевского он не любил, зато его положительно не сочувствовал и находил, что политический переворот в России пока немыслим, преждевременен, а о конституции по образцу западных — при невежестве народных масс — и думать смешно. Я как-то раз писал ему из Копенгагена и сказал, что не доросла еще Россия до конституции и долго еще не даст, что один земский собор совещательный необходим. На это Достоевский ответил письмом, что во многом он согласен со мною<sup>19</sup>.

Из товарищей своих Федор Михайлович часто вспоминал Дурова, Плещеева и Григорьева. Ни с кем из них в переписке не состоял, через мои руки шли только письма к брату его Михаилу, раз к Аполлону Майкову, тетке Куманиной и молодому Якушкину<sup>20</sup>. <...>

Случалось, что и я сам изредка проводил вечер у Достоевского, но и я и он предпочитали мой дом, так как больно уж неуютно и неприглядно было у него. Его упрощенное хозяйство, стирку, шитье и убранство комнаты вела старшая дочь хозяйки — вдовы солдатки, девушка лет двадцати. У нее была сестра лет шестнадцати, очень красивая. Старшая ухаживала за Федором Михайловичем и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем; я так привык к ней, что ничуть не удивлялся, когда она с сестрой садилась тут же с нами летом пить чай en grand *neglige*, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее. Бедность. У них была большая, так как, кроме маленького огорода, они ничего не имели, и мать открыто эксплуатировала молодость и красоту дочерей. Впрочем, тогда в Сибири

это никого не удивляло и было в порядке вещей. Я помню ответ старухи Федору Михайловичу, который упрекал ее за ее распущенность с младшою шестнадцатилетнею дочерью. «Эх, барин, все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два прянка аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!.. ведь с чиновниками не всякой выпадет счастье...» На таковую практическую логику трудно нам было отвечать.

Теперь не обойду молчанием и то, что мне известно о припадках падучей болезни Федора Михайловича. Бог миловал, я лично никогда свидетелем их не был. Но знаю, что припадки бывали довольно часто; обыкновенно его хозяйка немедленно давала мне знать. После припадка он чувствовал себя всегда дня два-три разбитым, вялым, мысли не вязались, голова не работала. Первые признаки болезни, как он утверждал, подвиделись в Петербурге, а развилась она на каторге<sup>16</sup>. В Семипалатинске припадки случались через три месяца. Приближение их он чувствовал и говорил, что перед приступом его тело охватывает какое-то невыразимое чувство сладострастия. Жутко было видеть в эти минуты этого страдальца, да еще при таких жизненных условиях; жалок и беспомощен он был после каждого пароксизма!

Однообразно-томительно текла наша жизнь. Я мало кого посещал, сидел более дома, много читал, много писал. С кем только я тогда не переписывался, даже имел смелость написать знаменитому ученому барону Александру Гумбольдту по поводу его писем о Сибири. В 1857 г. в Берлине, на пути в кругосветное плавание, мне довелось и познакомиться с ним лично.

Федор Михайлович общался немного более меня, особенно часто он навещал семью Исаевых. Сидел у них по вечерам и согласился давать уроки их единственному ребенку — Паше, шустрому мальчику восьми-девяти лет. Мария Дмитриевна Исаева была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназии в Астрахани и вышла там замуж за учителя Исаева. Как он попал в Сибирь — не помню. Исаев был больной, чахоточный и сильно пил. Человек он был тихий и смиренный. Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице,

и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу<sup>17</sup>. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, прilаскала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он «без будущности», говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Достоевский пропадал у Исаевых по целым дням, усиленно тащил и меня, но несимпатична мне была та среда ради мужа ее. <...>

Летом Семипалатинск невыносим: страшно душно, песок накаляется под палящими лучами солнца донельзя. Малейший ветер подымает облака пыли, и тончайший песок засыпает глаза и проникает повсюду. Жара в тени в июне доходила до 32° Реомюра. Я решил переехать за город в апреле, как только степь и деревья зазеленеют. Во всем Семипалатинске была одна дача с огромным садом, за Казацкою слободкою близ лагеря. Это было паду и Федору Михайловичу, и я предложил ему переехать ко мне из своей берлоги. Дача эта принадлежала богатому купцу-казаку и именовалась «Казаков сад» (см. письмо ко мне Федора Михайловича<sup>18</sup>). <...>

Я еще зимою выписал всевозможных семян цветов, овощей и луковиц из Риги. В городе на дворе уже заблаговременно мы устроили парники и подготовили рассаду. Достоевского это чрезвычайно радовало и занимало, и не раз вспоминал он свое детство и родную усадьбу.

В начале апреля мы с Федором Михайловичем переехали в наше Эльдорадо — в «Казаков сад». Деревянный дом, в котором мы поселились, был очень ветх, крыша текла, полы провалились; но он был довольно обширный, и места у нас было вдоволь. Конечно, мебели никакой — пусто, как в сарае. Большое зало выходило на террасу, перед домом устроили мы цветники. Одна большая аллея прорезала весь сад с старыми деревьями. Цветущих кустов никаких: сирени, жасмина, роз — в Семипалатинске тогда и не видывали. Был у нас и огород, который дал нам тоже массу овощей, доселе тоже неведомых в стране.

Среди сада находились ключи чистейшей студеной воды и было вырыто три водоема, в которых я держал стерлядь и маленького осетра, чтобы иметь под рукою

рыбу для стола. Раков в то время во всей Сибири не водилось. При доме были конюшни, сараи и обширный двор. Все это обнесено высоким дощатым забором, а весь сад и огород высоким частоколом.

Усадьба наша расположена была на высоком правом берегу Иртыша, к реке шел отложий зеленый луг. Мы тут устроили шалаши для купанья; вокруг него группировались разнообразные кусты, густые заросли ивы и масса тростника. То там, то сям среди зелени виднелись образовавшиеся от весеннего разлива пруды и небольшие озерки, кишащие рыбой и водяной дичью. Купаться мы начали в мае.

Цветниками нашими мы с Федором Михайловичем занимались ретиво и вскоре привели их в блестящий вид.

Ярко запечатлелся у меня образ Федора Михайловича, усердно помогавшего мне поливать молодую рассаду, в поте лица, сняв свою солдатскую шинель, в одном ситцевом жилете розового цвета, полинявшем от стирки; на шее болталаася неизменная, домашнего изделия, кемто ему преподнесенная длинная цепочка из мелкого голубого бисера, на цепочке висели большие лукообразные серебряные часы. Он обыкновенно был весь поглощен этим занятием и, видимо, находил в этом времяпрепровождении большое удовольствие.

Дни стояли уж очень жаркие. Нередко в заботах наших о цветниках принимали живое участие обе дочери хозяйки Достоевского (его городского обиталища). Они занимались обыкновенно поливкой цветов. Потрудившись часок-другой, мы шли купаться и затем располагались на террасе пить чай или обедать. Читали газеты, покуривая трубки, вспоминали с Федором Михайловичем о Петербурге, о близких и дорогих нам лицах, брали Европу. Всё шла еще война под Севастополем, и мы скорбели и тревожились. <...>

Катаясь верхом,— я уговорил наконец и Достоевского сесть на одну из моих лошадей, самую смиренную; по-видимому, это довелось ему в первый раз, и как он ни был смешон и неуклюж в роли кавалериста в своей серой солдатской шинели, но скоро вошел во вкус, и мы с ним делали верхом длинные прогулки в самый бор, в окрестные зимовья и в степь с разбросанными по ней юртами киргизов и их ставками. А как чудно хороша была степь! В эту пору вся она была в цвету, благоухала,— яркая зелень, испещренная цветами, как дивный ковер расстилалася на необозримое пространство. Что за прелест

степь раннею весною, пока жгучие лучи солнца не коснулись ее, не иссушали ее! <...>

Однажды Федор Михайлович является домой хмурый, расстроенный и объявляет мне с отчаянием, что Исаев перенесется в Кузнецк, <sup>ведь она согласна, не противоречит, вот что</sup> 500 от Семипаддинска <sup>в</sup>, «возмутительно!» — горько твердил он.

Действительно, вскоре состоялся перевод Исаева в Кузнецк. Отчаяние Достоевского было беспредельно: он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что все для него в жизни пропало. А тут у Исаевых оказались долги, пришлось все распродать — и двинуться в путь все же было не на что. Выручил их я, и собрались они наконец в путь-дорогу (смотри письмо Достоевского ко мне по этому поводу<sup>20</sup>).

Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок. Много лет спустя он напоминает мне об этом в своем письме от 31 марта 1865 года. Да! памятный это был день.

Мы поехали с Федором Михайловичем провожать Исаевых, выехали поздно вечером, чудною майскою ночью; я взял Достоевского в свою линейку. Исаевы поместились в открытую перекладную телегу — купить кибитку у них не было средств. Перед отъездом они засхали ко мне, на дорожку мы выпили шампанского. Желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной, я еще у себя здорово накатал шампанским ее муженька. Дорогою, по сибирскому обычаю, повторил; тут уж он был в полном моем распоряжении: немедленно я его забрал в свой экипаж, где он скоро и заснул как убитый. Федор Михайлович пересел к Марии Дмитриевне. Дорога была как укатанная, вокруг густой сосновый бор, мягкий лунный свет, воздух был какой-то сладкий и томный. Ехали, ехали... Но пришла пора и расстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивал пьяного, сонного Исаева и усаживал его в повозку; он немедленно же захрапел, по-видимому, не сознавая ни времени, ни места. Паша тоже спал. Дернули лошади, тронулся экипаж, поднялись клубы дорожной пыли, вот уже еле виднеется повозка и ее седоки, затихает почтовый колокольчик... а Достоевский все стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, взял его руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж. Мы

вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой...

Время взяло свое, и это болезненное отчаяние начало улегаться. С Кузнецком началась усиленная переписка, которая, однако, не всегда радовала Федора Михайловича. Он чуял что-то недоброе. К тому же в письмах были вечные жалобы на лишения, на свою болезнь, на неизлечимую болезнь мужа, на безотрадное будущее — все это не могло не угнетать Федора Михайловича. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Он даже бросил свои «Записки из Мертвого дома», над которыми работал так недавно с таким увлечением. Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мершавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом. Манера его речи была очень своеобразная. Вообще он говорил негромко, зачастую начинал чуть не шепотом, но чем больше он одушевлялся, тем голос его подымался звучнее и звучнее, а в минуты особого волнения он, говоря, как-то захлебывался и приковывал внимание своего слушателя страстностью речи. Чудные минуты пережил я с ним. Как много дало мне сближение с такой чудной, богато одареннойатурой. Между нами за все время нашего совместного житья не пробежала ни одна тучка, не было ни одного недоразумения. Он был десятью годами старше и много опыта нес меня. Не раз, когда я, по молодости моих лег и жизнейской неопытности, приходил в отчаяние от окружающей меня гнусной среды, в которой я принужден был работать, когда подчас, казалось, силы оставят меня в борьбе со злом, Федор Михайлович всячески поддерживал во мне энергию, подбодрял меня своими советами и участием. За многое я ему благодарен. На многое он открыл мне глаза, и особенно я чту его память за чувство гуманности, которое он внесил в меня. После всего выше-

изложенного читатель поймет, что я не мог оставаться безучастным зрителем подавленности духа, причиненного Федору Михайловичу его злосчастным романом.

Я решил, что буду всячески его развлекать. При всяком удобном случае тащить его всюду за собою. Познакомил его с горными инженерами близайших свинцово-серебряных заводов: Локтевского и Змеиногорского. Трудно давалось мне отвлекать его от грустных дум. <...>

Теперь <...> я хочу сказать только несколько слов о том, с какой чуткостью и достоинством, несмотря на свое крайне щекотливое общественное положение, держал себя Достоевский в обществе. Ведь та среда, в которой мы вращались, не отличалась особенной культурностью. Кроме того, начальство там было типа «бурбонов», грубое и заносчивое.

Никогда, конечно, Федор Михайлович не проявлял ни малейшего заносчивания, лести, желания проникнуть в общество и в то же время был в высшей степени сдержан и скромен, как бы не сознавая всех выдающихся своих достоинств. Благодаря своему такту, он, как я упомянул уже в начале своего рассказа, пользовался всеобщим уважением.

Вернувшись из Локтевского завода, мы застали город в большом возбуждении. Из Омска пришло известие, что, ввиду тревожного положения на южной границе и волнений среди киргизов, — едет сам генерал-губернатор, произведет смотр войскам, по случаю выступления в поход, будет также, говорили, произведена ревизия присутственных мест.

Необходимо было приготовиться на всякий случай и Достоевскому в поход; нужно было озабочиться купить сапоги, подошвы, непромокаемую куртку, самое необходимое из белья, — одним словом, экипироваться с ног до головы, так как у него, можно сказать, всего имущества было только то, что на нем. Опять нужны деньги, опять заботы и тревога, откуда их ему взять? Проклятый денежный вопрос никогда не давал ему покоя. Брат Михаил и тетка прислали ему недавно малую толику, — просить еще и еще было тяжело, а деньги у Достоевского как-то не держались к тому же. Конечно, нужда материальная изводила его, а тут еще из Кузнецка шли безотрадные вести, одна тревожнее другой. М. Д. Исаева,

уехав в глушь с мужем, пьяным и вечно больным, томилась и скучала. Все письма ее были переполнены жалобами на свое полное одиночество, на страшную потребность обменяться живым словом, отвести душу. В последующих письмах все чаще и чаще ею стало упоминаться имя нового знакомого в Кузнецке, товарища мужа Марии Дмитриевны, симпатичного молодого учителя<sup>21</sup>. С каждым письмом отзывы о нем становились все восторженнее и восторженнее, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевский терзался ревностью; жутко было смотреть на его мрачное настроение, отражавшееся на его здоровье.

Мне страшно стало жаль его, и я решился устроить ему свидание с Марией Дмитриевной на полпути между Кузнецком и Семипалатинском в Змиеве, куда еще недавно нас так радушно зазывал горный генерал Гернгросс. Очень я рассчитывал также, что эта встреча и объяснение положат конец несчастному роману Достоевского. Но вот в чем была задача: как довезти Федора Михайловича туда, за 160 верст от Семипалатинска, так, чтобы эта поездка осталасьтайной. Как я уже говорил выше, начальство таких дальних поездок не разрешало. Губернатор и батальонный командир Федора Михайловича наотрез уж два раза отказали отпустить его со мною в Змиев. Ну, думаю, была не была. Открыл мой план Достоевскому. Он радостно ухватился за него; совсем ожил мой Федор Михайлович, сильно уж влюблен был бедняга. Немедля я написал в Кузнецк Марии Дмитриевне, убеждая ее непременно приехать к назначенному дню в Змиев. В городе же распустил слух, что после припадка Федор Михайлович так слаб, что лежит. Дал знать и батальонному командиру Достоевского; говорю: «болен бедняга, лежит, и лечит его военный врач Lamotte». А Lamotte, конечно, за нас, друг наш был, чудной, благородной души человек, поляк, студент бывшего Виленского университета, выслан был сюда на службу из-за политического какого-то дела. Прислуге моей было приказано всем говорить, что Достоевский болен и лежит у нас. Закрыли ставни, чтобы как будто не потревожить больного. Велено никого не принимать. На счастье наше все высшее начальство, начиная с военного губернатора, только что выехало в степи.

Словом, все благоприятствовало. Благословясь, двинулись в путь в 10 часов вечера. Можно сказать, не ехали,

а вихрем неслись, чего, по-видимому, совсем не замечал мой бедный Федор Михайлович; уверяя, что мы двигаемся черепашьим шагом, он то и дело понуждал ямщиков. Миновав Локтевский завод, мы наутро были в Змиеве. Каково же было разочарование и отчаяние Достоевского, когда стало известно нам, что Мария Дмитриевна не приедет; вместо же нее Федору Михайловичу было передано письмо, в котором Мария Дмитриевна извещала, что мужу значительно хуже, отлучиться не может, да и приехать не на что, так как денег нет. Настроение Достоевского описывать не берусь: я только ломал себе голову, каким способом я его успокою.

В тот же день мы поскакали обратно и, отмахав 300 верст в 28 часов «по-сибирски», счастливо добрались домой, переоделись и, как ни в чем не бывало, пошли в гости. Так никто никогда в Семипалатинске и не узнал о нашей проделке.

Потекла наша жизнь по-старому: Федор Михайлович хандрил или порывисто работал; я, как умел, его развлекал. Да больно уж бедна впечатлениями была наша унылая жизнь. После томительных часов ежедневной службы, к роду которой ни Федора Михайловича, ни мое сердце не лежало, чем заполняли мы наши дни?

Все те же прогулки вдоль Иртыша, уход за цветами, купанье, чаепитие на балконе с длинными чубуками. Впрочем, я, как страстный рыболов, еще удил рыбу, а Достоевский, лежа тут же на траве, читал зачастую вслух, перечитывая большую частью в бесконечный раз скучный запас наших книг. Читал он мне, помню, между прочим, «для руководства», Аксакова «Уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника». Библиотеки в городе не было. Множество привезенных мною книг по геологии и естественным наукам и другим специальным предметам я дочитал, кажется, до того, что знал наизусть. Достоевский больше предпочитал литературу, и на каждую новую книгу мы набрасывались с жадностью. Но монотонность наших дней искупалась теми минутами, когда на Федора Михайловича находил порыв творчества. Настроение его делалось в то время такое приподнятое, что возбуждение его невольно отражалось и на мне. Казалось, и жизнь семипалатинская становилась как будто сноснее; но настроение это так же внезапно, к сожалению, падало в те времена, как и приходило. Достаточно было невеселой вести из Кузнецка — и все пропало, хирел и завядал мой Федор Михайлович. <...>

Однажды, попивая с Достоевским чай на террасе, смотрели мы, как наши девы цветы поливали; прибегает Адам и докладывает, что пришла молодая женщина и желает видеть Федора Михайловича, «да и твоего барина».

Ее впустили садом; уже издали Достоевский узнал в ней свою осторожную знакомую — Ваньку-Таньку. Она была дочь цыганки, сосланной за убийство своего мужа из ревности. Сама Танька была замешана в деле ссыльных поляков и венгерцев и бегстве двух из них из Омского острога в 1854 году.

Цель этого побега была крайне сумасбродна: пробраться в степь, поднять недовольных киргизов, присоединиться к ханским войскам и идти с ними освобождать товарищей — что-то уж больно несуразное.

И вот шумно и радостно вбежала к нам наша новая гостья. Это была смуглая женщина лет двадцати — двадцати двух; глаза черные, как горящие уголья, жгли, волосы непослушными завитками обрамляли ее лицо; она все время улыбалась, сверкая своими, как отборный жемчуг, зубами. Среднего роста, сухощавая, гибкая и в высшей степени подвижная — такова была наша посетительница. Встрече с Достоевским, видимо, искренне обрадовалась и, по осторожной привычке, говорила ему «ты». Со мной не церемонилась, смело, первая, не ожидая вопросов, подсела к нам, заливаясь звонким смехом и, видимо, желая на меня, как незнакомого еще ей, произвести впечатление. Кокетка она, говорят, была отчаянная и мысли не могла допустить, что кто-нибудь может пройти мимо нее не очарованный. <...>

Достоевскому же эта встреча послужила поводом занести новую главу в свои «Записки из Мертвого дома» (глава IX. Побег)<sup>22</sup>. Я уже упоминал выше, что в этот период нашей совместной жизни Федор Михайлович работал над своим знаменитым произведением — «Записками из Мертвого дома». Мне первому выпало счастье видеть Федора Михайловича в эти минуты его творчества, первому довелось слушать наброски этого бесподобного произведения, и еще теперь, спустя долгие годы, я вспоминаю эти минуты с особенным чувством. Сколько интересного, глубокого и поучительного довелось мне черпать в беседах с ним. Замечательно, что, несмотря на все тяжкие испытания судьбы: каторгу, ссылку, ужасную болезнь и непрестанную материальную нужду, в душе Федора Михайловича неугасимо теплились самые свет-

лые, самые широкие человеческие чувства. И эта удивительная, несмотря ни на что, незлобивость всегда особенно поражала меня в Достоевском. <...>

После долгих просьб мне удалось наконец, при посредстве военного губернатора, получить согласие батальонного командира на поездку Достоевского со мною в Змеиногорск, куда нас приглашал генерал Гернгросс. Это было недалеко от Кузнецка, и Федор Михайлович мечтал о возможности повидать Марию Дмитриевну, да и побывать в кругу образованных людей в Змеиногорске немало прельщало нас.

По дороге в Локтевском заводе прихватили с собою Демчинского, адъютанта военного губернатора. Так как с ним был близко знаком Федор Михайлович и нередко пользовался его мелкими услугами и в своих письмах ко мне упоминает его имя, скажу несколько слов о нем. Кроме двух артиллерийских офицеров, это был единственный молодой человек, с которым мы вели в Семипалатинске знакомство. Из юнкеров-неучей он был произведен в офицеры и благодаря протекции скоро надел аксельбанты адъютанта. Это был красавец лет двадцати пяти, самоуверенный фагт, веселый, обладавший большим юмором; он считался неотразимым Дон-Жуаном и был нахалом с женщинами и грозой семипалатинских мужей. Видя, что начальник его и прочие власти принимают так приветливо Достоевского, желая подъехать и ко мне за протекцией, он проявлял большое внимание к Федору Михайловичу. Искреннего же чувства у него не было: он сам слишком гнался за внешним блеском, и серая шинель и бедность Федора Михайловича были, конечно, Демчинскому далеко не по душе. Он недолюбливал вообще всех политических в Семипалатинске. Впоследствии он поступил в жандармы, или, как их тогда называли, «сияние архангелы», и, имея поручение сопровождать партию ссыльных политических в Сибирь, проявлял большую грубость к ним и бесчеловечность. Достоевский не мог с ним не знататься хотя бы потому, что, ввиду служебного положения Демчинского — адъютантом, Достоевскому то и дело приходилось обращаться к нему, и действительно тот не раз был ему полезен. Проведя день на Локтевском заводе, мы двинулись дальше. <...>

Мы прогостили в Змееве пять дней; согласно обычаю, нам отвели квартиру у богатого купца. Радушно встретило нас горное начальство; не знали уж, как нас и развлечь, — и обеды, и пикники, а вечером даже и танцы.

У полковника Полетики, управляющего заводом, был хор музыкантов, организованный из служащих завода. Все были так непринужденно веселы, просты и любезны, что и Достоевский повеселел, хотя М. Д. Исаева и на этот раз не приехала,— муж был очень плох в то время, но, впрочем, и письма даже Достоевскому она не присыпала в Змиев. А Федор Михайлович был на этот раз франт хоть куда. Впервые он снял свою солдатскую шинель и облачился в сюртук, сшитый моим Адамом, серые мои брюки, жилет и высокий стоячий пакрахмаленный воротничок. Углы воротничка доходили до ушей, как носили в то время. Крахмаленная манишка и черный атласный стоячий галстук дополняли его туалет.

Общество «горных», как называли их, резко отличалось тогда от всего сибирского общества. Это были все люди науки, образованные и культурные. Большая часть из них, кончив Горный корпус, ныне институт, в Петербурге, отправлялись доканчивать свое образование за границу в знаменитую Горную академию в Фрейберге, близ Дрездена. Жены «горных» были или из Петербурга, или иностранки. Получая громадные деньги, они жили чрезвычайно широко. <...>

Говоря о Змеиногорске, я не могу умолчать о знаменитом Колыванском озере, находившемся в 18 верстах от рудника. Все посещавшие Змеиногорск считали долгом побывать на его берегах. Знаменитый барон А. Гумбольдт при виде этой чудной картины природы был очарован и говорил, что, изъездив весь свет, не видел более красивого места.

Не мог я устоять, чтобы не побывать там. Федору Михайловичу нездоровилось; он был опять не в духе и остался дома.

Мы же большой компанией двинулись в путь, но, как я уже говорил, у «горных» был во всем широкий размах. Забрали запасы всякой еды и пития, повара, палатки, музыку,— одним словом, раздолье полное. Чудный солнечный день способствовал общему приподнятому настроению, и мужья и жены все были веселы и беззаботны.

Колыванское озеро небольшое, очень узкое в ширину, а в длину извивается среди высоких скал и ущелий на несколько верст. День был чудный, солнечный, тихий; поверхность озера была неподвижна и, как зеркало, отражала голубую синеву безоблачного неба.

Мы расположились на плоской стороне озера, близ высокой, сажен вдвадцать, одинокой скалы, окруженной

зеленым ковром пушистой травы. На противоположном берегу тянулись очень высокие скалы, по которым было разбросано все, что воображению угодно представить: замки, башни, зубчатые стены крепости, величественные статуи,— словом, какое-то фантастическое зрелище.

Одинокая скала, у подножья которой мы расположились лагерем, заканчивалась башней с огромным природным окном посередине. Забрался я на самую вершину с величайшим трудом,— пришлось карабкаться вверх, держась за веревку, спущенную сверху; ко мне присоединилась еще одна неустрашимая дама, нарядившаяся для удобства восхождения в особую обувь с крупными гвоздями на подошве.

Много горных озер видел я на своем веку, но того очарования, которое охватило меня здесь, я и теперь забыть не могу. Просто как завороженные смотрели мы, не отрывая глаз, сил не было уйти. Я очень пожалел, что с нами не было Достоевского; полагаю, что такая дивная красота природы пробудила бы влечение к ней у самого равнодушного. А что меня всегда поражало в Достоевском,— это его полнейшее в то время безразличие к картинам природы— они не трогали, не волновали его. Он весь был поглощен изучением человека, со всеми его достоинствами, слабостями и страстями. Все остальное было для него второстепенным. Он с искусством великого анатома отмечал малейшие изгибы души человеческой... <...>

Из немногих посещавших нас последнее время лиц, помню, между прочим, заехал проездом, чтобы повидать Достоевского, молодой, премилый офицер-киргиз, воспитанник Омского кадетского корпуса, внук последнего хана Средней орды Мухамед Ханафия-Валиханов (имя Валиханова упоминается в последних письмах Достоевского ко мне)<sup>23</sup>.

Он познакомился с Федором Михайловичем в Омске у Ивановых и очень полюбил его. <...> Валиханов имел вид вполне воспитанного, умного и образованного человека. Мне он очень понравился, и Достоевский очень был рад повидать его. Впоследствии я встречал его в Петербурге и Париже. Как я узнал, вскоре он погиб, бедняга, от чахотки — петербургский климат доконал его. <...>

Еще в половине августа, находясь по делам службы в Бийске, я неожиданно получил очень возбужденное письмо от Достоевского. Он извещал меня о смерти

Исаева. Все письмо дышит самой трогательной заботливостью о Марии Дмитриевне<sup>24</sup>. <...>

Привязанность Достоевского к Isaevой всегда была велика, но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель В<sup><ергунов></sup><sup>25</sup>, тащащий ее покойного мужа, личность, как говорили, совершенно бесцветная. Я его не знал и никогда не видел. Не чуждо, конечно, было Достоевскому чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклоняться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счаstии и спокойствии Isaevой.

А как тягостно было его состояние духа, удрученное желанием устроить Марию Дмитриевну, видно из его писем; например, вот несколько строк из письма Достоевского к Майкову от 18 января 1856 года:

«Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня».

Да и все письма ко мне Достоевского, после моего отъезда из Семипалатинска, в этот период его жизни переполнены тревогой о Марии Дмитриевне (письма эти помещаются ниже). Он доходит до полного отчаяния. 13 апреля 1856 года он пишет мне, в каком грустном, ужасном положении он находится; что если не получит от брата нужные для поездки в Кузнецк сто рублей, то это доведет его до «отчаяния». «Как знать, что случится». Надо полагать, он намекает на нечто трагическое, а что он допускал исход в подобных случаях трагический — возможно предполагать: не раз на эту тему бывали у нас с ним беседы и в письме ко мне от 9 ноября 1856 года он говорит:<sup>26</sup> «Госка моя в последнее время о Вас возросла донельзя (я в последнее время сверх того был часто болен). Я и вообразил, что с Вами случилось что-нибудь трагическое, вроде того, о чем мы с Вами когда-то говорили». В письме ко мне от 13 апреля 1856 года он прибавляет: «Не для меня прошу, мой друг, а для всего, что только теперь есть у меня самого дорогоего в жизни».

В письме от 23 мая 1856 года он пишет: «Дела мои ужасно плохи, и я почти в отчаянии. Трудно перестрадать, сколько я выстрадал». В письме от 14 июля 1856

года: «Я как помешанный... теперь уж поздно». В письме от 21 июля: «Я трепещу, чтоб она не вышла замуж... Ей-богу — хоть в воду, хоть вино начать пить».

«Если б Вы знали, как я теперь нуждаюсь в Вашем сердце. Так бы и обнял Вас, и, может быть, легче бы мне стало. Так невыносимо грустно. Я хоть и знаю, что если Вы не приедете в Сибирь, то конечно потому, что Вам гораздо выгоднее будет остаться в России, но простите мой эгоизм: и сплю и вижу, чтоб поскорее увидеть Вас здесь. Вы мне нужны, так нужны!..»

Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике — учителе В<sup><ергунове></sup>. В одном письме ко мне, о котором упоминает Орест Миллер в своем сборнике и которое затеряно, Достоевский пишет: «на коленях» готов за него (за учителя В<sup><ергунова></sup>) просить. Теперь он мне дороже брата родного, не грехно просить, он того стоит... Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь — подумайте, и будьте мне братом родным<sup>27</sup>. Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого.

Но вот 21 декабря 1856 года судьба, наконец, улыбнулась Федору Михайловичу. В письме от 21 декабря 1856 года Достоевский пишет мне: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь,— Вы знаете на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сама мне сказала: «Да». То, что я писал Вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности... Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»

Так благополучно, наконец, завершился роман Достоевского, который захватил его всецо, стоил ему бессонных ночей, тревоги, здоровья и денег, но... едва ли дал ему настоящее счастье. <...>

Вернувшись в Семипалатинск из Барнаула, я нашел Достоевского осунувшимся, похудевшим, грустным, совсем убитым. С моим приездом Федор Михайлович приободрился, но мне пришлось его огорчить, сообщив ему о моем скором отъезде из Семипалатинска.

Последние дни перед отъездом пролетели быстро. В конце декабря<sup>28</sup> я собрался в путь. Федор Михайлович весь день со мной не расставался, помогал мне укладываться...

Оба мы были в грустном, тревожном состоянии. Невольно набегала мысль... увидимся ли?

Мы оба, смею думать, в эти два года тесно сжились, полюбили друг друга, привязались, делили радости и горести сибирской жизни, выкладывали, как говорится, друг другу душу. А как это дорого в тяжелые минуты оторванности от всего дорогого, как облегчает это — поймет всякий, кому случалось быть в таких условиях.

И вот, действительно, по отъезде моем он пишет мне ряд дружеских, трогательных писем, он томится в одиночестве. В письме ко мне от 21 декабря он пишет:

«Хочу говорить с Вами по-прежнему, как бывало в Семипалатинске, когда Вы для меня были всем: и другом и братом, и когда мы оба делили друг с другом свои заботы... *сердечные*».

Жутко мне было покидать его!

Я был молод, здоров, полон розовых надежд.

А он?.. он, этот Богом отмеченный великий талант, волею судеб оставался здесь, в этих дебрях, бескорочным солдатом, заброшенный, больной, одинокий, без опоры, без слова сочувствия, лишаясь во мне последнего друга! От всей души было мне жаль его...

Но... настал и час моего отъезда.

Уже смеркалось.

Вышел Адам, забрал чемоданы, мы обнялись крепко-крепко. Расцеловались и дали слово друг друга не забывать. Как умел, старался я его ободрить и обнадежить.

Оба мы, как и в первое свидание, прослезились.

Усился я в кибитку, обнял в последний раз моего бедного друга.

Ямщик дернул вожжи, рванулась вперед моя тройка... и поскакал я.

Я оглянулся еще раз назад: в вечернем мраке еле виднелась понурая фигура Достоевского.

Я мчался... куда?.. на что?..

Не раз думы мои возвращались в Семипалатинск, в унылую избушку покинутого друга.

Но Бог милостив, думал я со свойственным молодости оптимизмом и мчался дальше и дальше, по необозримой степи, необозримой и таинственной, как ожидавшая судьба нас обоих.